

Алесь Мищенко.

Десятисекундная жизнь.

(альтернативное название: «Десять секунд на поиск»)

(Рассказ из сборника «я, он и она» о ситуациях, проявляющих отношение человека к себе, к смыслу жизни, к смерти. Все персонажи, термины и истории реальны. Отправлен для публикации в журнале «Новая юность»)

10

Странный полусон: напряжённый, урчащий и тёмный, как небытие – от лязга – мгновенно весь полинял, улетучился. Я понял: где-то внизу открылись тяжёлые засовы люка.

Через него хлынули яркий свет и свистящий ветер, а урчание оказалось оглушительным рёвом моторов. Я зажмурился от слепящего солнца и... (вверху что-то щёлкнуло) ухнул вниз – именно так рождались железные герои империи.

И, когда желудок сжался от ужаса свободного падения в бездну, я, наконец, полностью очнулся.

9

Да, моим первым в жизни ощущением был животный ужас, от которого сонный мозг вспыхнул как сто-ваттная лампа и растянул время так, что во вторую секунду падения я успел заметить всё вокруг: металлический, тесный, сидячий гроб с приклеенными к потолку фотографиями из моей забытой прошлой жизни. Внизу – кресло, к которому я был привязан ремнем, а передо мной и с боков – полукруглое панорамное окно, в котором я, наконец, увидел его – бесконечное со всех сторон ослепительно-синее небо... Я падал в небо.

Мои руки сжимали похожий на половину руля штурвал, который, впрочем, не работал, как не работают рули автомобилей на каруселях – дети вертят их, воображая что они едут сами – и именно так, по-детски глупо, мне предстояло прожить эту странную жизнь.

8

Осознав это, я закричал от досады – и, вместе со стучавшим, как пульс, вопросом "как же так?! зачем я здесь?! как же так?! зачем я здесь?!", вся, приведшая меня сюда, прошлая жизнь, как убыстряющиеся вспышки фотокамеры, замелькала у меня в голове.

Конечно, то, что было со мной до того как я ухнул вниз в кабине этого минисамолёта – это не какая-то "другая", а просто моя предыдущая жизнь, молнией проносящаяся передо мной в эти последние секунды... Хотя как знать? Ведь та прошлая жизнь закончилась, фактически, настоящими похоронами: со всеми почестями меня проводили в последний путь, усадили в этот самолёт-гроб и прикрепили внутри тёмного могильного бомболюка.

Засовы закрылись и всё осталось снаружи, вся предыдущая жизнь: успешная и достойная, вплоть до последнего триумфального часа, когда многотысячные толпы приветствовали меня, как императора, а самые красивые девушки надели мне на шею венки из цветов и белоснежный шарф пилота камикадзе. Главнокомандующий Объединенным Флотом сказал нам: «Пожалуйста, сделайте все, что сможете».

И я знал что мы сможем. Потому что нет ничего твёрже японского солдата. А у наших противников даже нет такого слова "долг". Точнее, у них одно слово – и для карточного долга, и для задолженности по квартплате, и для долга перед родителями, и для долга перед страной. И даже то, что они понимают под долгом перед страной – это лишь тень, лишь неудачный перевод нашего понятия «он». Я сел в этот самолёт, чтобы отдать свой он. Я почувствовал, как у меня до сих пор сжимается что-то внутри – от высочайшей чести, которой я удостоился в той жизни.

Я добился всего, о чем мечтал – и этот момент падения в минисамолёте, начиненном взрывчаткой – прямо на врага, как кара с небес – представлялся мне тогда сверкающей вершиной моей жизни...

Но сейчас та жизнь прошла, а в этой короткой жизни нет ничего, кроме летящих мне навстречу облаков. И то, что сжималось внутри, оказалось не ощущением чести, а животным страхом перед ускоряющимся падением.

7

Тем временем, плотный лес облаков стал расступаться и, сквозь тропическую дымку, я различил – далеко вокруг – горизонты океана, который приближался ко мне – величественно и необратимо, со всё возрастающей скоростью.

Несмотря на сжимающиеся от падения внутренности, я попытался себя "собрать", ощутить, как планировалось, что всё происходящее – это торжественный финальный аккорд моей героической, как симфония, жизни... но... не мог!

Весь тот мир был так далёк, что не было слышно никакой симфонии – только вот этот финальный удар по клавишам, громкий как внезапно прыгнувшая на рояль кошка. И, поэтому, я почувствовал совсем противоположное. Я почувствовал, вернее даже понял, что появился на свет прямо сейчас, в момент начала своего падения. Что все эти далёкие воспоминания – сон, и только вот это, моё короткое существование – и есть единственная моя жизнь на Земле.

Я не мог понять: что произошло? Может вот так, стремительно, вместе с пробуждением от сонного оцепенения, моя душа вонзилась в тело какого-то лётчика, только что умершего от перенапряжения – и вот, я живу в нём эти последние секунды? Живу, чтобы завершить дело всей жизни за того человека, умершего за несколько секунд до срока. Чтобы отдать его *он*. Чужой *он*, который не имел для меня никакого смысла.

И тут я понял, что это был за человек, за которого я доживаю, завершая его миссию. У каждого японца есть такой человек. Он называется Татамая.

Татамая – это то, какой я для окружающих людей (в то время как Хонэ – это тот человек, который внутри). И вот сейчас, когда я оказался абсолютно наедине с собой, я – впервые – тот, кто я есть, Хонэ. А та жизнь была жизнью другого человека, жизнью Татамая.

Когда Татамая шёл к постаменту, на котором возвышался его минисамолёт, всё вокруг было так красиво, что казалось дорогой в рай. И не казалось – было. Это было дорогой в рай Татамая. В чужой рай, в который – я был уверен – меня сейчас даже не пустят: душа будет непохожа, как оказываются непохожими фотографии на поддельном пропуске. А где же тогда мой рай? Я не видел туда дороги – лишь отчаяние и животный страх.

Где он, мой рай? И, вместе в летящим навстречу пространством, в голову вонзилась вычитанная в чьих-то воспоминаниях мысль. Мысль, мелькнувшая у кого-то в момент клинической смерти, когда умирающий, в тёмных и стремительно (как моё падение) летящих навстречу, предсмертных тоннелях, тщетно искал путь наверх, в сверкающие заоблачные райские кущи. Искал – и не мог их найти. И эта главная, подытоживающая, пронзительная мысль, оказалась "...рай был на земле...".

6

"...рай был на земле..." – после этой мысли тот умирающий почувствовал острое запоздалое сожаление, что прожил жизнь, выполняя какой-то долг, вечно налаживая какое-то дело, вместо того, чтобы жить, радуясь этому, уже невозвратному раю. Перед моим взором, вспышками автоматной очереди, пронеслись короткие моменты моей радости.

Вспомнились молодые пьянки с курсантами лётного училища – когда всё казалось весело и смешно: и заплетающийся язык друзей и простые шутки, и то что в настольные Сёги мы уже играть не могли: кто-то, смеясь, строил из фигурок коней некие "непобедимые" колесницы, кто-то кричал "а вот посмотрите как европейцы играют в шашкматы" и делал неразрешённые правилами шаги, пуча глаза и стараясь сделать как можно более глупое лицо.

Вспомнились и как выезжали на "йобаи" – когда, согласно традиции, нужно было пробраться в дом молодой незнакомки голым (подтверждая, что твои намерения чисты, то есть, лежат не в области воровства) и, стараясь до последнего момента не разбудить, нырнуть к ней в кровать. Наиболее удачным считалось пристроиться к ней сзади – чтобы уже обнять и дать почувствовать свою симпатию, всё ещё сохраняя анонимность. Тем более, некоторые из них предпочитали так и не поворачиваться: традиция предписывала как-то прикрывать своё лицо, не показывая его ночному гостю, а значит, сохраняя его в неузнанной, неопозоренной чистоте. Шуметь в добропорядочных домах не принято и, поэтому, девушки редко отказывали, тем более когда ты молод, ловок, не уродлив, и можешь сказать хоть что-то неглупое в ответственный момент. Ну а если девушка всё-же начинала по-тихоньку шуметь, приходилось, так же крадучись, давать обратный ход (иначе дело может пойти к свадьбе), возвращаясь к хохочущим под окном друзьям – для заливания позора новой порцией сакэ.

И вот теперь, когда уже проявившееся из дымки огромное море летело навстречу моему падающему самолёту, мелькающая в голове мозайка кадров и мыслей сложилась в какой-то ребус, в вопрос "неужели и правда рай – был на земле?". Неужели для этого я и жил – чтобы периодически наливать сакэ или «йобаиться»?.. Но всё это как катание с горки: первый раз захватывающе, второй интересно, третий – уже просто времяпрепровождение, просто привычка. Если бы моя жизнь продлилась не 20, а хотя-бы 40 лет – неужели это, по-прежнему, было бы моим раем?..

Нет, конечно. В лучшем случае опостылело бы, а в худшем – превратилось бы в тяжёлый алкоголизм и не дающую покоя манию на сексуальной почве.

Я вспомнил своё последнее письмо родным: "Жить в этом мире было радостно, но сегодняшняя жизнь пронизана духом тщетности."

И теперь, у меня не получалось зацепиться за удовольствия, за радость, – всё это, равно как честь и долг, осталось где-то там, и не могло придать никакого смысла: ни прошедшей жизни, ни этому падению в ослепительно сверкающее море, на котором дорожкой просыпанного риса уже виднелась вереница вражеских военных кораблей.

В моём письме я также писал своей семье: "В наш последний вылет мы возьмем коробочку бобового творога и риса. Очень приятно улетать с таким пайком. Я думаю, что также захвачу амулет и сушеную летучую рыбу, которую прислал господин Такеиси. Рыбка поможет мне подняться над океаном и вернуться обратно к вам."

Воспоминания об удовольствиях развеялись от этих слов: ребус-мозайка рассыпался, обнажая то главное о чём думаешь перед смертью – родные, близкие, семья.

5

Конечно, все эти молодые забавы (так устроена жизнь) должны были закончиться созданием семьи – в которой, уже тогда, видел смысл мой дальновидный товарищ Фудзии, никогда не принимавший участия в наших пьянках и раньше всех женившийся – на такой же правильной, как и он сам, девушке Фукуко. Она оказалась настолько безупречной, и их любовь – настолько сильной что, когда Фукуко узнала о решении Фудзии записаться в отряд камикадзе, она последовала за ним.

Нарядила их голдовалую дочку Киёко в лучшее праздничное платье и посадила в сиденьице что надевалось на спину... Шёл мелкий дождь и Киёко было весело, она вертелась, пытаясь схватить ртом его капли. Руку старшей, трёхлетней дочери Казуко она накрепко привязала к своей – чтобы остаться вместе, когда она бросится в реку Аракаву недалеко от авиашколы. Так их и запомнили – сосредоточенную Фукуко и довольных нарядных дочерей, удаляющихся туда, где шумели быстрые воды Аракавы – всё дальше и дальше, пока их совсем не скрыла пелена дождя.

Когда я писал своё последнее письмо, за окнами казармы тоже шёл дождь – такой весёлый

пузыристый дождь, который бывает только в детстве. Я вспоминал такие детские дожди и писал своей маме: "... здесь есть старый орган, и кто-то играет школьные песенки, в том числе и песню матери, которая идет в школу с зонтиком для своего ребенка".

Я слушал, представлял маму бредущую в школу с зонтиком, но словно потусторонний скрип сломанного органчика, через эту картину проступал образ Фукуко с дочерьми, идущих под дождём, туда где – как были уверены нарядные Киёко и Казуко, их ждал какой-то праздник.

4

В предсмертной записке, найденной вместе с их трупами, было написано: "Если мы останемся жить, ты будешь тревожиться о нас и не сможешь сражаться так, как ты желаешь".

Я долго думал потом: зачем она так поступила, какой в этом был смысл? С одной стороны, я понимал, что она осознанно соотносит этот поступок с дзигай, женским харакири, при котором перерезается горло. Древние самураи дарили своим невестам нож Кайкэн (теперь традиционный свадебный подарок), который должен был им послужить после харакири мужа. И хоть Фудзии и не совершал харакири, но он падал, как и я, в смерть, в стремительно приближающееся море. Поэтому страшный поступок Фукуко был логичным – последовать за мужем.

Но, с другой стороны, всё-таки, что-то не позволяло мне до конца поверить в эту логику. Что-то меня смущало в её предсмертной записке. И потом, когда я узнал что Фукуко, всеми силами противилась решению мужа стать камикадзе, я понял: меня смущала вот эта фраза "так, как ты желаешь". Я заметил, что это не "так, как велит тебе долг" и понял: пусть на уровне сознания это был дзигай, на подсознательном животном уровне это было женское желание бросить мужа первой, отомстить, причинить ему самому те страдания, на которые обрекает камикадзе свою осиротевшую семью. Человек противоречив: Татамая совершает логичный, осмысленный дзигай, а Хонэ – бессмысленную, слепую месть, на которую способно лишь то неуправляемое эгоистичное чувство, которое мы ошибочно называем любовью.

Именно оно, а не дзигай, сразило Фудзии наповал: словно безумный, он начал обрубать пальцы и своей кровью писать просьбы о незамедлительном зачислении в отряд. Командование понимало, что жить он не сможет и удовлетворило его просьбу.

И, сейчас, я понимаю: внешний и внутренний человек есть не только у японцев (просто у нас, как на японской гравюре, они выражаются с максимальной чёткостью). А так – сколько таких Фукуко во всём мире уходят (или разводятся) одновременно с двумя желаниями: смертельно отомстить и "устроить как лучше"... И, когда влюбляются, тоже непонятно: подстраивается ли стук сердца под стук кнопок калькулятора выгоды или наоборот.

3

Предсмертная записка Фукуко заканчивалась так: "мы уйдем первыми и будем ждать тебя там".

Надеюсь, они встретятся после смерти, иначе всё это – самая жуткая бессмыслица...

Но даже если они встретятся – как же они, освещённые, как рентгеном, всё-раскрывающим божественным светом, вообще посмотрят друг другу в глаза? Ей придётся смывать эту ужасную месть (это "раз ты так хочешь – то вот тебе") ещё одним, загробным дзигай. А ему – ещё одной атакой камикадзе, ещё более бессмысленной, так как атаковать там будет некого. И этот ад будет продолжаться снова и снова – вечно.

Ну хорошо, если это не "раз ты так хочешь – то вот тебе", если это не подсознательная месть Фукуко, а просто она настолько не представляла себе жизни без Фудзии, если они там встретятся в счастливой семье, то почему вообще такая несправедливость – у него будет там семья, а у меня – нет? И у её дочек Киёко и Казуко – нет? А, кроме того, если они встретятся, то значит Фукуко своим

поступком лишила и самого Фудзии (так ею любимого) радости встречаться там со своими внуками, правнуками, праправнуками, и так далее – занимая свою вечность счастливыми бесконечными семейными делами.

История Фудзии и Фукуко, как контр-пример в математической теореме, доказывал, что семья и любовь между мужчиной и женщиной – тоже теряют смысл в грядущей вечности. Да и почему только этот ужасный пример? А если одно из моих собственных йобаи выпало на благоприятные для зачатия дни? Значит дело-таки дойдёт до свадьбы – но уже в загробном мире. А если таких йобаи было несколько? Будем ли мы счастливы, получим ли благословение всех родителей на такую полигамную семью? А если этих девушек потом кто-то спас от позора, женившись? А если потом они развелись? Сколько народу будет в моей семье после всех этих разводов?

Я вспомнил японскую сказку про то, как мыши искали жениха для дочери и, встретив последовательно Солнце, Облако, Ветер и Стену, нашли самого достойного жениха в её друге, мыши Чусуке. Сказка заканчивалась "Жили они долго и счастливо".

Но для людей, с их ревностью, разными желаниями и планами друг на друга, а значит и с желанием переделать всех, переодеть всех в костюмы своей детской сказки, – я не видел никакого "жили они *вечно* и счастливо", никакой райской счастливой семьи. Да и земной тоже, по тем же причинам. Мы разные, значит планы разные, значит время разрушает любое счастье, оставляя лишь пожизненное терпение.

И, если планы и время разрушают счастье, то, значит, единственное счастье – это ценить только этот момент. Для девушек – забывать навсегда исчезнувших посетителей йобаи, ценить их только в саму минуту наслаждения. Для разведённых – забывать бывших мужей, помнить только счастливые моменты любви в этой, последней семье. Для Фудзии – забыть погибшую Фукуко с дочерьми. Для меня – забыть предыдущую жизнь. Ценить только этот момент полёта над бескрайним морем в белых барашках волн; и эту скорость, ошеломляющую даже в эти предсмертные растянутые секунды; и этот авианосец, красиво рассекающий волны в мелко-бриллиантовые брызги – в стремлении избежать столкновения со мной; и даже эти микроскопические точки – людей, бегущих по палубе к зенитному орудию.

2

В этот миг я вспомнил, что, как только меня заметили, необходимо, для ускорения, включать двигатель – чтобы направить самолёт в центр корабля. Я нажал на штурвале его единственную кнопку, и самолёт перестал быть игрушкой с выключенным рулём. Небесную тишину оборвал взревевший шум мотора, к которому добавились высокие ноты свиста зенитных снарядов. Вот это и есть смысл – несколько секунд безудержной симфонии боя и – её финальный аккорд – неотвратимая победа! Если меня не сбили на высоте, сейчас моё попадание в авианосец уже не остановить.

Я вспомнил как начиналась памятка пилотам камикадзе:

"Когда цель окажется в пределах видимости, наведите прицел на середину корабля.

Войдя в пики, крикните изо всех сил "Хисатс!" (Рази без промаха).

Принципиально важно перед столкновением не закрывать глаза."

Микроскопические точки превратились в фигурки людей. Они метались по палубе словно под ритмичную мелодию битвы... И всё же...

И всё же... возможно так всегда кажется перед смертью... но во всей этой симфонии, во всём этом представлении была какая-то фальшь – словно всё вокруг было не по-настоящему. Казалось, как в программе розыгрыш, ещё миг – и все вокруг рассмеются, покажут где находилась камера и окажутся просто актёрами. Это ощущение нереальности мешало чувствовать себя в моменте, насладиться последними секундами полной жизни и жить, полностью прожить этот грандиозный миг...

Почему?

И я понял, точнее, как будто даже увидел, в чём дело: все эти люди были не на своём месте. Каждый из них бежал вместе с тяжёлой ношей внутри, носил внутри настоящее своё место – дом, далёкую родину – и именно эта, почти непосильная ноша, звучала в диссонансе со всем происходящим. Все мы, солдаты, находимся не на своём месте, в которое нас определила бессмысленная цепь причин и следствий.

Война – самое бессмысленное из того, за что я пытался зацепиться в свои последние секунды. Все камикадзе понимают перед смертью: они не играют никакой роли, да и вообще, победа или поражение Японии – всё равно.

Энсайн Хейити из нашего второго отряда, писал перед вылетом: "Если Япония внезапно выиграет войну, это будет даже роковым несчастьем... для нашего народа было бы лучше пройти через настоящие страдания, которые закалят их".

1

Палуба корабля приближалась со всё возрастающей скоростью, а последние мгновения, наоборот, растягивались. У бегающих фигурок уже можно было различить лица – испуганные и тоже неготовые умирать: вот, на бегу к радиорубке, ветер сорвал с веснушчатого радиста пилотку, и он успел обернуться – но не на неё, а на меня, как бы спрашивая, успеет ли он поднять, или уже всё равно... Вот споткнувшийся юнга падал, выставив вперёд руки – и я знал, что его руки уже не коснутся палубы... Вот матрос со смуглым и невозмутимым, как у всех индейцев, лицом крутит ручку поворота зенитки...

И в каждом из внутренних миров, так же как у меня, пролетали все их нехитрые и вероятно тоже бессмысленные воспоминания. Пролетал Перл-Харбор – яркой тунгусской кометой, такой, что вся последующая война казалась лишь его тенью, местью. Ну а у индейца – вероятно, и дедовские рассказы о преступлениях бледнолицых, о захвате их земель – так, что и война и сам Перл-Харбор казались лишь карой древних индейских богов.

Ведь, в последние мгновения, в памяти успевает промелькнуть не только собственная жизнь, но и вся история, записанная в коллективном бессознательном: с древних времен, со сказок и легенд, и до затерянного в бесконечности будущего.

И я увидел грядущее: атомную бомбардировку Хиросимы и Нагасаки, в миг превратившую бегающих по палубе американцев из жертв Перл-Харбора в инфернальных жрецов ядерного апокалипсиса. Я увидел идущих по мосту людей, к которым приближалась ядерная бомба. Приближалась, также как я, означая "Потом вас больше не будет" – и, действительно, в следующую секунду, они испепелились в ничто, от них остались лишь тени на гранитной мостовой – тёмные силуэты людей на фоне выцветшего от ядерной вспышки гранита. Я увидел и пленных в Хиросиме корейцев, которые, также как индеец на американском корабле, погибли, унеся с собой воспоминания о японских военных преступлениях, превышающих, по количеству смертей, три холокоста.

Дальше от центра, я увидел малыша Хироа на спине своей матери, которая по случайности была закрыта им, повернута спиной к ядерному взрыву... В последние минуты жизни обгоревший малыш всё время просил пить... Но мама не дала ему бутылочку: тогда считали, что если обгоревшему человеку дать воды, то он сразу умрёт. Видел и всю жизнь его мамы, которая, до самой последней минуты, с бессмысленностью, на которую способен только человек, не могла себе простить, что так и не дала ему напиться. Была привязана этой непоправимостью, как кит с гарпуном в сердце, этой бессмысленной нитью к тому далёкому дню.

Я увидел и будущее императора, за которого умерли все мы, и который, после нашего поражения и казни верных ему генералов, оказался миролюбивой жертвой своего окружения и союзником американцев. Я видел и послевоенную Японию, от которой война, как ядерная бомба, оставила лишь тень её возможностей.

Говорят "то что нас не убивает, делает нас сильнее", но это слова зомби, так и не заметившего что он умер. С его точки зрения, он лишь приобрел неуязвимость и устрашающий врага вид. Япония стала зомби и, вместо самурайской культуры, научила весь мир комиксам.

Я видел как самурайская готовность пожертвовать собой заменилась в будущем на готовность шахидов убить как можно больше мирных семей. Я видел будущее правды, утонувшей в океанах пропаганды и лжи. Я видел превращение свободы в свободу потребления. И следствие этого: управление ожиревшими людьми – сперва со стороны спецслужб и крупных корпораций, а потом и со стороны искусственного интеллекта. И первых роботов сделанных на моей Родине, и последних людей, превратившихся в их домашних питомцев. И вообще, всю, всю эту ненавистную и бессмысленную цепь событий, ведущую к концу не только меня но и всех – от президентов и императоров (переодевающихся, с равной убеждённостию, то в белые, то в кровавые одежды) – до гибнущих в эту секунду американских матросов, которые, как и я, были жертвами этого мира, и с которыми, в этот последний миг, я мог встретиться нашими расширенными от ужаса взглядами.

"Принципиально важно перед столкновением не закрывать глаза" – мелькнула, в последний раз, такая же лживая, как и весь мир, памятка пилотам камикадзе, предлагавшая кричать изо всех сил "Рази без промаха!" – лишь бы пилот не передумал в последний момент. И пилоты кричали (теперь я это знал на своём примере). Но кричали, вкладывая в этот крик вовсе не торжество победы, а всю свою ненависть к окружающему миру, поместившему их в тесный летающий гроб. Фактически, они кричали то же самое, что крикнул, в последний миг, отказавшийся сдаваться командир наполеоновской гвардии: Дермо!!!

...

0

Памятка пилотам камикадзе заканчивалась дословно так: "Все цветы сакуры Ясукуни в Токио радостно улыбнутся вам. Потом вас больше не будет".

Это и было ответом мира этим пилотам, его мезьтью за их последние "дезертирные" мысли, его трибуналом, заклинанием против их вечной жизни.

Но что-то в этом заклинании – "Потом вас больше не будет" – сработало не до конца.

Потому что не совсем "не будет". Как написал Энсайн Итидзо Хаяси в своем последнем письме, "мы жили вместе так дружно, что очень многое сейчас можно оставить внутри себя" – вот оно и осталось, и во взрыве авианосца, и в невыносимом свете ядерного взрыва – оно, очищенное от бессмысленной пропаганды и ненависти, зацепилось-таки за небесный океан и отпружило обратно вверх, словно на невидимой в нашем мире тарзанке, словно на ощущаемой каждой матерью нити Хироа (ведь это только в том, предыдущем мгновении виделась горькая бессмысленность этой нити. Теперь, после взрыва, видно что, в отличие и от жертвований на храм, и от по-японски выверенного кормления малыша по часам, именно эта нить Ариадны и вывела его маму... именно за неё Хироа и вытянул её, через всю бессмысленность и жестокость мира, к себе в рай).

И туда же попало, спаслось назло миру и отпружило от взрыва всё то, что, как писал Энсайн, осталось внутри пилота.

Отпружило и оттуда, с какой-то каплей – радужной и весёлой каплей того самого детского пузыристого дождя, под которым когда-то шли на праздник нарядные Киёко и Казуко, попало и в нас – иначе почему мы в детстве веселимся, а повзрослев, грустим, глядя на дождь?

И откуда у нас это захватывание дыхания, когда мы смотрим на безбрежное облачное небо?

Просто когда-то, в теперь уже прошлой жизни, мы оттуда падали.

~~~~~